

Щербакова Галина

Кровать Молотова

Все совпадения лиц и мест случайны, как и все в мире.

У меня врачебное предписание - отдышаться за городом. Мой загород скошенный вниз, к речке, кусок сырой земли, на котором с десятков высоченных сосен, в сущности, для восприятия уже не деревьев, а стволов. Написала слова и ужаснулась второму их смыслу. Будто не знаю, что все слова у нас оборотни. Поэтому считайте, что я вам ничего не говорила о соснах. Или сказала просто - шершавые и высокие. Такие достались. Метут небо ветками-метелками. Ширк - и облака налево, ширк - направо. Только к ночи они замирают, и тогда я их люблю за совершенную графичность, которой на дух нет у подрастающих молоденьких рябин, вставших взамен унесенных ураганом орешников. Рябинки-лапочки - это живопись кистью, не без помощи пальца. Сосны же - графика. Но под всем и, в сущности, над всем царствует на моем куске земли перформанс крапивы, царицы моих угодий.

Сразу, когда я появилась на своем скосе, как бы из глубины самой земли возник голый до пояса, а пьяный целиком мужичок с косой и сказал:

- Ну, хозяйка, черканем крапиву? Сто пятьдесят - и нету заразы, а потом я тебе ее сграбаю в кучу, а осенью запалю.

Так здесь делают все. Месяц торчат из земли толстые корни крапивы, их ничем не взять. Банки, пакеты, мячи, руки-ноги кукол являют открывшемуся глазу подкрапивный мир, который, не стыдясь самого себя, стыдит нас за неопрятность жизни, за неуважение к земле и траве, и некоторые, особо устыдившиеся, мечтают о бульдозере, чтоб снять верхнюю землю до самого последнего крапивного корня, а сверху сыпануть гравий. Это особый тип покорителя лесов, полей и рек. Бульдозерный. Есть и другой, который после бульдозера намысливает привезти землю откуда-нибудь, где даже палки плодоносят, сыпануть ее щедро, метелочкой разместить и потом целое лето снимать с веток огурцы, клубнику и прочие яства.

Справедливости ради надо сказать, что оба типа мечтателей бульдозерные и плодоядные - ленивы. И ни гравия, ни жирной земли не будет у них никогда. Тут можно сказать, что лень русского человека носит космический характер, и человек уже и не виноват. Его желания - булавочные уколы той субстанции, которая его окружает. И не больно, и сразу заживает любая идея что-то там...

Но вернемся к моменту скашивания крапивы. Это волнительный, как сказали бы во МХАТе процесс, и в природе возникает большое беспокойство. Подскакивают заполошенные лягушки, всхлопываются перепуганные ежики, злые змейки мстительно исчезают под крыльцом, а беззлобный уж растягивается, как удав, на главной дорожке, пугая маленьких детей.

Я это уже проходила. И верещала от ужа, и ловила ежеиков, и выкапывала из земли утеранный сто лет тому назад чей-то пинпонговый шарик... Представив возникновение такой разрухи и услышав собственную тахикардию, я прогнала

мужичка.

- Пусть растет! - сказала я.

И поступила мудро. За ночь крапива выросла сантиметров на десять и стала шелестеть мне в окно. С тех пор у меня с ней отношения. Когда с бельевой веревки слетает не пришпиленное посудное полотенце и обморочно падает на крапиву, я уже не беру в руки длинную палку для снятия паутины, чтоб спасти полотенце. Я иду по крапиве сама. Она обжигает меня сразу, ей это надо сделать, чтоб доподлинно знать, я ли это. Убедившись во мне, крапива замирает. И я действительно прохожу по пояс в крапиве, как Иисус по морю аки посуху, и мне в ней хорошо и покойно.

Во мне выиграла ботаника, и я решила рассказать про крапиву, про ее жизнь и про плохое отношение к ней людей. Писать о человеческой неблагодарности получается легко и нетрудно. Слова выстраиваются в очередь, чтоб быть явленными, их тысячи про человека и крапиву-природу, где человек - свинья, хотя в чем он не свинья? В отношениях с кем и чем он - человек - царствен и красив? Ламинарии (попросту морская капуста) просто спят и видят, чтоб у человека отсохли руки и ноги и он прекратил свою так называемую полезную деятельность. Вот когда вздохнет океан, ярче засверкают звезды и станет хорошо земле и воде. Про ламинарии мне рассказывала крапива, когда наши отношения стали столь доверительными, что она мне призналась в заговоре грибов против людей, а одуванчиков непосредственно против детей.

За детей ей от меня досталось, и я какое-то время с ней вообще не разговаривала, но тут вокруг меня началась очередная бурная полезная деятельность людей и к чертовой матери полетели в щепки две молоденькие березы, кривоватая, но вполне живая сосна и целый выводок бузины. Человек по соседству решил строить себе баню.

- У него нет ванны? - спросила меня внучка, оплакивая смерть березы.

- Есть! - сказала я.

- Тогда зачем ему баня? - внучка размазывает слезы по всей мордахе, но она уже не плачет, она остановилась перед загадкой жизни, которую я ей должна объяснить.

И я рассказываю ей сказку о роли бани в жизни русского человека, почти всегда живущего в холоде. Про то, как баня лечит и как после нее выздоравливают, и пока у меня все идет гладко. Но взятый сказочный мотив сбивается на фальшь. Я помню, как после войны у нас построили общую баню и как однажды по недосмотру бабушки я туда попала. И бабушка поставила меня дома в таз и вручную перемыла заново. Потому как еще неизвестно, какую болезнь я могла принести из общей помывочной.

Конечно, я не рассказываю это внучке, я ей про то - как прыгают в снег разгоряченные люди, которые потом возвращаются в жар и бьют себя вениками, поливая при этом квасом раскаленную печку.

И тут справедливо сказать: не говори о том, чего не знаешь. Не жарилась, не прыгала... Это верно. Но в бане бывала, учась в университете, и шайку брала, и не знала, куда девать номерок от шкафчика, но главным было чувство срама, не личного, а какого-то надмирного срама наготы и незащитности.

- Мы будем ходить в эту баню? - спрашивает внучка.

- Нет, - говорю я. - Она же не наша.

- Слава Богу! - кричит внучка.

Нет, что-то у меня не получилось с романтикой плескания квасом.

Но не про срам же говорить? Он был у меня от личных комплексов, что худа и угловата, а понятия, что это хорошо, тогда еще не было. Большие и мокрые женщины были королевами, от них шел жар и дух.

Внучка же убежала, и я услышала, как она рассказывала товарищам по детству про погибшие деревья, "хотя у человека есть ванна". Детский народ говорит, что раз так, то они отомстят и спалят баню. За ту березу.

Бить тревогу я не стала - бани еще не было, лето шло к концу, но я поняла, что на следующий год у меня будут другие интересные темы: про "красных петухов". Пожар Москвы 1812 года и про то, что мстительность это плохое человеческое качество.

Пока же только готовится место для бани. Еще даже не завезен материал. Мало ли что случится? В России нельзя загадывать на завтра, а уж на год!

Но однажды на участок будущей стройки въехал грузовик, и с него была снята очень странная, огромная, запеленутая в полиэтилен вещь. С моего любопытного крылечка было хорошо видно трудное стягивание вещи с кузова. Работяги кряхтели и матерились, не зная, как ухватить это нечто. В конце концов они бухнули это на землю, а потом подтащили и уложили это на освобожденную для бани территорию. Штука встала точнехонько, мужики на нее сели и стали выпивать, потому что таков первый закон динамики жизни русского человека: сделал - выпей.

Разговор их до меня долетал отрывочно и казался бессмысленным. Мужики говорили, что такое дешевле спалить, чем с ним возиться, другие же не соглашались, ссылаясь на старое время, когда такое делали о-го-го как! Старое, оно, мол, еще сто лет простоит. Сошлись на том, что дело покажет.

Я порадовалась такому их резону, ибо сама знаю: пока не начнешь что-то делать, ничего и не поймешь. А начнешь - глядишь, дело тебе подсказывает, куда тебе ковылять дальше. Как говорила моя бабушка, глаза боятся, а руки делают. Но тут до уха долетел чей-то накаленный голос, и я испугалась, не вызревает ли драка. Драка в двух десятках метров от тебя - вещь опасная, и я решила, что надо звать внучку, запирать двери и тушить свет. Но прислушалась. Оказывается, мужики кричали о философской категории - о времени. "Время - сволочь", - кричал тот, что приходил ко мне голый по пояс, а пьяный до пят. "Оно, - кричал он, - только с виду день, ночь и стрелки, а на самом деле оно..." Мужик замер, ища слово поточнее, и вдруг заорал: "Время - оно прокурор!"

- Это кому как... А кому адвокат, - ответил ему кто-то из сидящих.

- Нет, прокурор. Посмотри на Ленина, Сталина.

- Нет, адвокат, посмотри на царя.

- Через сто лет каждый умный, а ты возьми сегодня...

- Сегодня - это сегодня. Оно еще тут. На него суда нет.

- Это почему же?

- Потому что все смутно, потому как близко. Давай приставимся друг к другу носами, и что ты увидишь...

- Кто-то про это уже говорил.

- Я и говорил. Надо отъехать... И чем дальше, тем все станет яснее.

- Кому?

- Людям.

- Но мы-то будем в могиле... Про мое время узнает Райкин правнук, да срал он на это... У него своя будет беда, и что - снова сто лет ждать, чтоб узнать, откуда эта зараза явилась уже у него и отчего он мается?

- Так ведь на ошибках учатся. К примеру, на наших. Пусть учится твоя Райка...

- Никогда, - закричал мой знакомый, - никогда! Русский каждый раз живет, как в первый раз. Ему иначе неинтересно... Думаешь, я не понимаю, что я пьянь и голь, и отец у меня был пьянь и голь и дед... Но я сам все решаю: плевать, что до меня; мне так жить нравится.

- Генетика, - сказал кто-то.

- Жопа ты! - ласково ответил пьянь и голь. - Жопа! Когда я выбрал свой путь, ее еще у нас не открыли... Хотя тот еврей горох давно посеял, а потом сказал, что никакой разницы - горох, человек или курица. Ну, сообрази - это умно? Я тогда еще в девятый ходил. Я понял, что могу разбить еврея и его науку, у меня голова все тогда складно придумала, но на хрена мне это надо? Я не подчиняюсь ни гороху, ни другой глупости. Я сам живу, как решил. Мог стать ученым, а не захотел, и все. Неинтересно это мне.

- Я тоже слышал про этот горох. Дурь...

- Человек сильнее науки, это точно. Нет такой силы, чтоб взять и из меня сделать не меня. Что я, дамся что ли? Вот это и есть генетика, бубнил кто-то.

Они загудели, возбужденные мыслью не даваться науке, не подчиниться ей, заразе такой. И я поняла: большой драки не будет. Они все заодно. Накостыляют только тому, кто упорствует за генетику.

Я не заметила, как они ушли, полиэтилен шелестел в мою сторону, значит, ветер был западный. Уже темнело - ведь кончался август, пришла внучка, стала канючить, чтоб я отпустила ее еще погулять, я не разрешила. Тогда она взяла мяч и стала лупить им в стенку. Наша собачья будка (дача) стала дрожать и предсмертно стонать, мне жаль было времени тишины, поэтому я и поймала брошенный мяч. Почему-то приятно было ощущать в руках молодой трофей. Я крикнула внучке: "Лови!", - она подпрыгнула, но мяч с крылечка пошел высоко, легко перелетел ограду участка и шлепнулся прямо в полиэтиленовую тайну.

- Пошли-ка за мячиком, - сказала я девчонке.

Я шла по кромке крапивы, та мне что-то шелестела, девчонка бежала впереди и уже перелезла через низкий заборчик, который разделял наши участки. Собственно, мне можно было и не идти, пока я добрела до заборчика, внучка уже возвращалась с

мячиком; идти дальше не было смысла.

Но я перелезла через оградку и, жалясь крапивой чужого участка - мы-то с ней знакомы не были, - подошла к тому, что фактически заняло место будущей бани. Это была просто-напросто огромная двуспальная кровать, поставленная вверх ногами, отчего и не была узнана. Ее низкие закругленные спинки глубоко вгрузили в землю. В такой позиции кровать была похожа на свинячью поилку, которую я наблюдала в детстве, живя по соседству с "оборотистой кулачкой" (так называла ее улица) и "которую, слава Богу, не победить" - так говорила о ней бабушка.

Приезжая домой уже студенткой, я спрашивала: "А не победить и слава Богу жива?" "Жива! Жива!" - отвечала бабушка, и глаз ее посверкивал победно. Так вот, без матрасов и вверх ногами кровать смотрелась поилкой для свиней. "Не победить слава Богу" сбивало меня с мысли и уводило в сторону, хотя я уже давно знаю: никаких случайных и не к месту воспоминаний нет, и слова не приходят просто так, тем более их не выдумаешь, хоть лопни, если хочешь сказать так, как до тебя не знали. Они, слова, появятся, когда их не ждали.

Я рванула полиэтилен. Кроватные спинки втиснули его под себя. И тем не менее с внутренней стороны хорошо мореного дуба я увидела то, что видела уже однажды: нацарапанное ключевое слово русской речи, его знак, его родимо-невыводимое пятно, слово-клич и слово-нежность, слово, которое даже графически рассчитано на любой уровень грамоты. Оно легко складывается из палочек, без всяких там загогулин и выкрутасов. Сколько же прошло лет? И вот кровать явилась мне снова, да еще этой своей частью. Автографной. Хотя почему она явилась, если явилась я? И мячик я, видимо, не зря кинула, хотела прийти и увидеть своими глазами, что она жива и цела? Кровать Молотова. Через двадцать с лишним лет моей эры и дважды столько предыдущей.

И не случайно ее подбросили к моему загончику, я знаю точно - не случайно. Потому как очень долго я гребовала даже смотреть в ее сторону, даже находиться на одном пространстве с нею. Кровати определенно было все равно до моих принципов. И вот, мадам, вам издалека шлет привет слово из трех букв, причем заметьте, мадам, вам никто этим словом не тыкал, вы сами пришли и развернули то, что, видимо, очень хотелось развернуть. Вы развернули время.

Где-то там внутри меня пахнуло сначала паленым, потом дустом, время стало сворачиваться и сжиматься, а потом просто схлопнулось со звуком, как схлопывается баян, когда уставший баянист, отыграв в финале вальс "На сопках Маньчжурии", делает этот жест, сводя мехи, а потом скрепляет их защелкой. Так, оказывается, может схлопнуться и время. И мое, и то, что до меня, и, возможно, завтрашнее, а ты в горячих складках баяна гуляй среди них сколько хочешь. Конечно, каждый в подобном случае хотел бы попасть на ленту Мебиуса - она похожа на мост, она красива в своем изгибе времени, и на ней можно стоять в полный рост. Но для этого надо, чтоб тебе повезло родиться в какой-нибудь готической среде - там ты высок и красив, тут же, на поставленной среди остатков леса вверх ногами кровати с выжженными навсегда буквами, ты можешь попасть только в мехи сдавленного времени, вчерашний и завтрашний день будут давить тебя с двух сторон, и ты будешь искать щель выхода. Собственно, это и есть смысл жизни существующей и последующей русского человека, закон его выживания, его национальная если хотите - идея: выйти вон через щель. Порталы нам не

предусмотрены. Ну так я думала, глупая женщина, сидя на кровати Молотова, во рту у меня была гарь, в носу дуст, и надо мной - запах много знавшей постели, который пришел как бы ниоткуда, то есть из меня самой, ибо тех лиловатых матрацев со специфическими разводами здесь не было. В сущности, здесь был только остов кровати, но, Боже, какую энергию памяти он нес.

Начало семидесятых.

Мы въезжаем в только что поставленный домик. Он пах едкой краской, сырой фанерой, в нем стояла столетняя газовая плита, раковина с разводами от ржавчины и столь же поношенный толчок. Все вместе это было счастьем. Ибо есть, куда привезти детей. Вокруг такие же домики, но есть и другие. Бревенчатые, с огромными окнами - они явно из другого мира, и нам объясняют: то, что не похоже, было когда-то, еще до войны, дачей Молотова, потом он съехал, спецучасток без спецчеловека стал ветшать, его стали утыкивать маленькими финскими домиками (как наш), потому и контингент здесь сейчас другой. Публика низшего командного состава. Шушера.

Так называет нас оставленный со старых времен охранник, надзиратель, комендант. После тех людей он не смотрит нам в лицо, он нами гребует. Я напрягаюсь, жду, когда он произнесет это слово при мне... Он не опускается до уровня сражения со мной. У меня даже были приготовлены какие-то слова. Я их не помню. Помню другое, почему именно на букву "ш" набежало столько оскорбительных слов: шантрапа, шваль, шалопаи, шелупонь... Он ходит, квадратный человек с прямой спиной без шеи, с бритым затылком. Весь каменный на вид. Так бы, наверное, шел памятник Кирову, если бы партия приказала ему встать и идти вперед.

Дети видят точнее. Они называли его всадником без головы. И хотя у него не было коня, он, безусловно, был всадник другой эпохи, которому выпало на долю несчастье пережить свое время и выпасть в другое. Так ощущаю себя и я в этом застегнутом баяне, в котором одно время плотно прижимается к другому. И я вдруг понимаю, почему не могла спеть песню о русской бане внучке, как поет про нее шансонье в гимнастерке. Вот оно, наше главное: баня, водка, гармонь и лосось. А для меня надмирный срам бани - это не просто голость, это раздевание тысяч евреев перед тем, как идти "в баню". Как можно это забыть? Но баня - это еще и другой срам. Срам окуляра, вставленного для подглядывания "всадником без коня и головы". Баня - это позор не быть собой, а быть только похожим на себя. В мехах времени - это все вместе, это одно из другого: трагедия из позора, позор из трагедии. Родина великая моя, несчастная моя Россия.

Никогда столько я не думала и не размышляла о природе российского рабства, о бесконечности его и в виде иерархии, и в виде цикла.

Мысли были слабенькие. Но это начало семидесятых... Уже была Прага.

Я думала, возможно ли это у нас? И к ужасу, к отчаянию своему, понимала, что ни за что и никогда. Он всегда был передо мной, хранитель места, где какое-то время жил Молотов и где осталась его кровать. Тут уже было не просто служение, а рабское поклонение оставленному запаху и следу сапога. Ведь раб, снимающий сапоги с хозяина, одновременно и хозяин ноги своего владыки. И если сильнее подтянуть голенище, глядишь, и рукой коснешься коленки, а там уже и исподнее

близко. Владеть исподним - значит, владеть всем. И каждый раб норовит достигнуть исподнего своего хозяина.

А что может быть исподнее кровати? На ней человек голый или полуголый, на ней у него ноги не по швам, а как им заблагорассудится в раскидку, на ней спина млеет от удовольствия и не способна в момент закаменеть в памятник. В кровати человек чешет со всей возможной лаской свою твердую и шершавую задницу и может приподнять одеяло и посмотреть, как осунулся и сник давно не знавший радости мужской причиндал, но он, великий человек, знает: стоит громыхнуть - и он придет, его раб, и ему можно даже пожаловаться, и он тебе поможет, он знает как, у него все предусмотрено. И он побежит быстро-быстро в людскую, секретариат, женский комитет, где до ночи сидит специальная барышня, а на даче всегда горит одно окошко, и там есть кастелянша, чистая и большая... Зачем же хозяину менять такой замечательный расклад жизни и брать решение вопроса на себя самого, да еще и возможность получить по морде, если вдруг объявить существующими некие свободы и права на собственное хочу и не хочу.

Я не про Молотова. Он еще долго жил какой-то странной жизнью, платя взносы партии, изгнавшей его. Говорят, он любил жену. Но я скорее поверю в то, что он не знал, кроме нее, ни одной женщины, чем в его любовь. Потому что, если бы любил, застрелил бы Сталина, ему было проще всего это сделать, но он был раб... И какое-то время спал на кровати, на которой сижу я, запертая во времени. Видимо, он был беспомощен и жалок в своей одинокой постели, а под дверью его сидел памятник Кирову, тогда еще молодой и ухватистый до жизни. Еще не война. То есть, конечно, война. Вовсю бомбят Англию, немцы уже в Польше. Но какое нам до этого дело? Возможно, нам это даже приятно. И у Молотова хорошее, звездное время... Может, именно с этой кровати он ехал ручкаться с Риббентропом. А какой кайф откусывать на карте горы и реки других народов и государств. Такое счастье, может, и стоит ссылки жены? Он падает на кровать, отдает ей жеребьячью энергию Македонского и хитромудрость Наполеона. Кровать запоминает эти моменты восторга спецчеловека. А что уж говорить о человеке с железной спиной, который всегда был тут как тут и который не мог и через тридцать лет забыть те эмоции и сказал обо всех последующих людях: "шушера". Естественно! Я ведь не стояла у истоков ни одного исторического безобразия, я не вдохновила собой ни один опавший в бессилии гульфик, я просто имела наглость ходить по той земле, где ходили люди НЕ МНЕ ЧЕТА.

Когда спецчеловек съехал, начался первый великий передел. Когда-то в особняке существовали и столовая, и кабинет, и гостиная, но съехавший хозяин дал волю своим холопам перелопатить все к чертовой матери, поделить большие комнаты на две, на четыре, на шесть и даже восемь, и только спальня, освященная огромной кроватью, осталась нетронутой - большой и светлой. Возникла большая коммуналка с общей кухней, с встроенными в окна дверями и одним-единственным туалетом человек так на сорок. Люди жили тесно, но это был их выбор, вернее, не так, они были выбраны жить в спецдоме.

Завистью, всеобъемлющей, всеобщей, была спальня. Барская спальня, в которой, кроме многожды упомянутой кровати, стоял столик-поднос на колесиках, весь в пятнах разного качества, но колесики бегали споро, а мебели у народа было мало. Писали номера на руке, считались, покупали место в очереди, но даже среди самых

навороченных гарнитуров столика на колесиках не было.

В это время комнату-спальню занимал некий Лелик, мужик-мальчик, седой и поношенный с лица, но тоненький, как веточка, в остальной своей части. У него была прехорошенькая жена, которая не дожила (она жива, здорова, и дай ей Бог) своей молодостью до нашего времени, а то быть бы ей и мисс Бюст, и мисс Ноги, и мисс Все остальное. Конечно, мужики дыбились. Это был все невыработанный народ из разных партийных институтов, красных уголков и партийных отделов газет. Не знающие никаких физических усилий и при полном отсутствии умственного интереса, они были весьма хлопотливы по женской части. Но жена Лелика была верной супругой, что раздражало мужской контингент. И им было бы приятно, достанься Люська любому из них, но только чтоб нарушила верность. Как это укладывалось в их головах, я, дожив до седых волос, так и не понимаю. Это было строгое время. За сохранение семьи боролись, как под Перекопом, семью держали в позе заставки "Мосфильма", и не иначе. Одновременно эти же люди блудовали, как в последний час. Впрочем, он в чем-то таким и был. Некоторые наглые из Института марксизма даже карабкались на выступ фундамента, чтоб заглянуть в спальню и посмотреть на кровать Молотова. Хороших, не наглых, Лелик звал к себе сам и разрешал посидеть на краешке. Был, говорят, случай, когда подвыпившие мужички поспорили на две пол-литры, сколько народу может поместиться на кровати зараз. Не могли договориться, как считать людей лежа или сидячих с поджатыми ногами. Исходили из назначения. Считать лежащих. Но находились пошляки, которые высказывали не лишнюю правды жизни мысль, что кровать подразумевает и позицию одного над другим. Тогда надо было для эксперимента звать женщин, но деликатный, можно сказать, интимный спор через женщин мог получить ненужное распространение, и мало ли... И не за такое людей брали за причинное место. Поэтому посредством перекатывания хрупкого Лелика по кровати полутеоретически пришли к цифре одиннадцать.

Честно говоря, Лелик очень боялся перемен истории, при которых он может потерять эту свалившуюся на него честь. Поэтому делом его жизни стало всяческое подчеркивание своего ума и знаний на ниве служения системе. И еще он встречал в разного рода конфликтные ситуации, дабы их дипломатически решать. Внутренне он мечтал, я так думаю, о проблеме дележа какого-нибудь пространства, чтоб скрестить шпагу с гипотетическим Риббентропом.

А потом Лелик оборвался на нитке жизни, причем по-глупому, глупее не бывает. Была у него слабость задавать провокационные вопросы при большом скоплении народа. Его за это считали стукачом, но он им не был, потому что там, где надо, провокатор ценился более тонкий. Лелик же был прям, как нынешний телевизорный Доренко. Хотя последний вообще ни при чем, он политический волкодав, а Лелик был скорее литературно-пародийный пудель. Глупость, на которой он погорел, очень характеризует идиотию того времени, мелкопакоостную, которую надо и можно было отбрасывать носком ноги, как дохлую мышь.

Дело было так. Собирается мужской народ выпить. Сбор, как всегда, возле беседки, что стоит напротив главного дома. Беседка вся уже на ладан дышит, в одночасье может треснуть по швам, но она - место сбора. Это свято, как седьмое ноября. Мужики считают заныканые деньги. Делается это осторожно и даже по-своему изысканно: пятерки и тройки легкими пальцами высовываются только для

обозначения ценности и тут же исчезают в карманах брюк, жилеток и даже в полуботинках. Сложение сумм мгновенное и всегда правильное, что говорит о математических задатках всего народа, даже и того, кто был никем, а стал жителем спецучастка. А тут Лелик. На тонких ножках. У него никогда ни в каком месте денег нет, поэтому его приближение практического значения не имеет.

- А кто, по-вашему, - кричит он, еще не подойдя к беседке, - лучший поэт мира?

- Пошел ты, - миролюбиво было сказано ему.

- Это принципиальный вопрос, - говорит Лелик, вспрыгивая в беседку. - В каком-то смысле политический.

Пушкин, Лермонтов, Некрасов и Есенин прозвучали одновременно исключительно из соображения - пусть скорее отвяжется.

Лелик закинул назад свою седую голову и сказал, что все они не понимают ни момента, ни ситуации, хотя такие вещи надо знать, так сказать, интуитивно. Это уже было нехорошо с его стороны, так как мужики занимали серьезные партийные должности и им полагалось знать все. Я себе рисую картину, как они мысленно перекрестились, что все назвали покойников, с которыми ничего произойти не могло, они уже вне пересмотра и возможных перемен. Я представляю, как облегченно они выдохнули чуть было не запертый в горле воздух. Выдержав паузу, Лелик прошелся по беседке туда-сюда, скрипя половицами, стал в позу пионера с горном, именно такой стоял на участке там, где была задумана когда-то песочница, но при хозяйне детей не развелось, песочницу рассыпали, а пионера с горном передвинули ближе к погребу. До войны, когда ставили главный дом, погреб был в хозяйстве нужнее нужного, он, кстати, остался до сих пор, в нем юные отпрыски детей старых партийцев делают себе героиновый кайф при свете фонарей. Пионер стоит на страже.

Но это будет еще через тридцать-сорок лет, а тогда Лелик шагал по беседке с неким намеком на лице. Страшная вещь - намек - для человека того времени.

А храбрых в той компании не было. Каждый боялся не знать чего-то важного в государственном масштабе, от чего может произойти движение оси жизни и, как объяснял тот же Лелик, тут-то ижица и станет какой. "Кириллица это, дети мои, кириллица". Кириллицу видели в лицо и в 53-м, и в 56-м, и в 64-м, и в 68-м... И столетие Ленина для многих вышло "какой". Анекдотов развелось, как грязи, песенки типа "нам столетье не преграда". Сурово спрашивали: чему это столетие может не стать преградой? Что такое может быть выше? Многие сгорели после этого, как свечи.

- Так вот, мужики, поэт всех времен и народов - Лорка, - важно сказал Лелик, слегка раскачиваясь на половине.

Возник ступор. Кто такая Лорка? Почему они о ней ничего не знают? Как ее фамилия? Они не смотрели друг другу в глаза, боясь увидеть, что в другом глазу есть ответ, которого у него самого нет.

Поэт - это медиум

Природы и жизни,

громко, нараспев произнес Лелик и снял у народа груз с плеч. "Медиум" было не

наше слово, его не могло быть в партийной лексике. Это слово было явлением шаманизма и идеализма.

- И как же фамилия твоей Лорки? - спросил завхозотделом райкома партии, который забыл из-за Лелика конечную сумму денег, так ловко высчитанную до явления этого идиота.

- Невежды! - сказал Лелик. - Федерико Гарсиа Лорка.

И тут завкадрами большого партийного издательства легко так, чуть-чуть толкнул Лелика поддых, чтоб знал, дурак, природу вещей и жизни не через медиумов.

Половица под Леликом треснула, за ней треснула другая, и Лелик канул в подполье беседки под общий хохот освобожденного от страха перед неизвестным народа.

Высоты там было на копейку, не больше метра. Но Лелик падал на пень старой сосны, трухлявый пень, несерьезный, но суковатый. Опять двуличие слова и опять связано с сосной.

Надо мне это приметить и быть с ней осторожной. Ничего ведь зря не выскакивает.

Лелик сломал позвоночник; костистый, без всякого мускула, он хрястнул так, что не оставалось сомнений в будущем Лелика. Он немножко пожил паралитиком, а потом умер тихо-тихо, как муха на зиму.

Уже на следующее лето комната с кроватью стояла пустая, потому что ходили слухи, что Лелика видели в окне, и вообще соседи слышали, как ночами бегают сервировочный столик, поэтому, хотя дачу предлагали исключительно материалистам, на всякий случай от нее отказывались. Тем более что хорошенькая Люська после смерти мужа стала как-то чернеть лицом и нажила себе рак. И хоть не померла от него, но все равно все ждали. Мне досталась эта история уже в изложении, а главное, в злости что пропадает площадь, забитая досками, Поменявшийся со временем контингент уже ничего не боялся. Он смеялся над дураками, которые не знали Лорку. Они его уже знали. Они были циники, и слава Богу, циник, на мой взгляд, исторически прогрессивней труса.

Дети циников остороженько, без шума вытащили стекло на террасе, отогнули доску и стали навещать заветную квартиру и заветную кровать.

Надо сказать, что раньше, при Лелике, я эту кровать не видела. Хотя была много раз звана посмотреть. Но это было начало моей жизни в стране спецучастка, когда я всей кожей ненавидела всадника без головы, а с ним и все остальное: его хозяина, их предметы.

Пришлось мне увидеть кровать при плохих обстоятельствах, совсем плохих. Это уже самое начало восьмидесятых.

Значит, юное поколение лазает в окошко и скрипит кроватью. У меня двенадцатилетняя дочь (ровно столько, сколько сейчас моей внучке), и моя главная задача - не упустить момент, когда ей тоже захочется посмотреть, что там. Но ее подружки еще всю игру в куклы, так что Бог нас пока милует.

Но есть одна девочка. Она отличается от всех каким-то потусторонним взглядом.

Она ходит, как бы видя что-то другое, это другое ей мило, поэтому на ее лице время от времени возникает странноватая улыбка тайного греха. Дети этого не видят. Матери настораживаются. Девочка может сидеть долго и неподвижно, чуть раздвинув колени, со слегка приоткрытым ртом, она не идиотка, ни Боже мой, она даже отличница в спецшколе. Откуда нам было знать, что в девочке быстро и неукротимо рос порок, и он ей доставлял наслаждение своим возникновением. Сейчас бы написали - раннее сексуальное развитие. Делов-то! Однажды дочь по секрету сказала мне, что Машка лазает в окошко в ту квартиру.

- Они там пьют пиво, - сказала мне дочь.

Мне казалось правильным предупредить мать девочки, тем более что приезжала она только на выходные. Но женщина эта была неуловима. И только потом я узнала, что весь уик-энд она пила, запершись в крошечной комнатке, отделенной от той спальни тонкой стенкой. Но кто-то из мам, более решительных, чем я, сказал ей все-таки, что Маша ведет себя не очень...

- Ты за своей смотри, ясно? - ответила мать. И женщина, Валя Крылова, машинистка одного из журналов, прибежала ко мне, потрясенная не смыслом ответа, а этим "ты", которое ударило Валю наотмашь, так как она вообразить себе не могла такого хамства. В их редакции сохранялся высокий бонтон, там выкали даже уборщицам входящие в высокие инстанции начальники, и Валя признавалась мне, что дорожит из-за этого местом, потому что для многих "машинистки - не люди". Я еле-еле успокоила Валю, придумав, что хамство это иногда смущение, а иногда и растерянность, главное, что мать знает, ее предупредили.

Та осень была очень теплой. И мы ездили на дачу в выходные почти до ноября. Ходили с охапками желтых листьев, которых было особенно много в том месте, в котором я нахожусь в данный момент. На кромке кровати Молотова, а, по сути, в баяне времени.

Тогда, в начале восьмидесятых, здесь еще был лес; дачи, в которой я живу сейчас, еще не было, на ее месте стояла огромная соснища, жутковатая своими лапами, похожими на расставивших сети хищников. Последний раз мы приехали в великий праздник того времени, жарили шашлыки, жгли костры, потому что было уже холодновато. Доска на террасу того дома была отодвинута, туда шныряли подростки, мне показалось, что я видела в окне Машу.

Всех раздражал пьяный в дупель сторож, который был напоен нами же, пока переходил от одной компании к другой. Уже когда мы уезжали, он махал нам руками - идиот идиотом, - и штаны у него были расстегнуты и приспущены. Но все знали его жену-продащицу, которая найдет его, побьет и закроет ему ширинку.

На следующее лето мы приехали поздно. Участок уже жил своей жизнью, мелькали новые лица. Обновление контингента шло безостановочно. Подружки дочери все были на месте, пришла и Маша. Она очень выросла и невероятно располнела. Мы, мамы, обменялись мнениями, что это гормональное, связанное с менструациями. Это была главная тема.

Однажды весь участок вскочил от диких воплей. Не могли сообразить, где и кто. Но в конце концов все сбежались к заколоченной спальне. Крики шли оттуда. Мужчины сорвали доски и первыми вбежали в комнату, кто-то из них грохнул

кулаком по стеклу и крикнул: "Звоните в "скорую"! А сюда идите женщины".

Это бездарно, что я оказалась там первой. На кровати Молотова вопила, крутясь на спине, Машка, а из нее текли вода, моча и кровь.

- Она рождает, - тихо сказал кто-то из женщин позади меня. - Ее надо раздеть.

У меня, стоявшей ближе всех, ничего не получалось. Мокрые чулки будто въелись ей в кожу, рейтузы прилипли, а она к тому же дрыгалась, не давая себя трогать. Я вспомнила где-то читанное, что всякая нормальная женщина должна уметь принять роды. Я была всякая, но, видимо, я не была нормальная. Кто-то принес ножницы, Машка завопила еще пуще, но ей все-таки разрезали пояс с чулками и рейтузы и даже стащили их, но тут, к счастью, приехала "скорая". Мы все вышли, я споткнулась о подносик на колесиках, ухватилась за спинку кровати, за то самое слово из трех букв, которое сейчас тут, рядом со мною.

Кровать была до невероятности вонючей, поэтому после всего мужчины выволокли ее на улицу, подальше от глаз, к одинокому пионеру, стоявшему в вечном салюте.

Разгерметизированная столь грубо, священная комната была приведена в относительный порядок, ее побелили, что-то там покрасили, а главное, перегородили стенкой. И та часть комнаты, что примыкала к комнатухе Машиной семьи, получила дополнительную площадь. Дверь пробивали сами. Так что все было справедливо, по-советски: родился человек и получил свои дополнительные метры.

Конечно, возник вопрос об отце. И общественность стала указывать на сторожа, вспомнив спущенность прошлогодних штанов. Трезвый, сторож сильно забоялся, дело подсудное, и сказал, что в том деле был пятым или седьмым, потому что у Машки были все, и это она их всех имела, если говорить честно. Почему-то этому сразу поверили, и больше вопросов об отце ребеночка не было. Машка, сидя на крылечке своей дачки, кормила маленького из широких грудей, плоских, но молокастых.

Иногда она приходила играть к девчонкам. И тогда мы все, матери, звали по неотложным делам своих дочек. Однажды она пришла и стояла долго и молча, не ввязываясь в девчачьи игры. Что-то было в ней странное. Я следила из окна, готовая отозвать дочку, и думала, не больна ли Машка.

- А он, кажется, умер, - сказала она тихо.

- Кто? - спросили девочки.

- Ребеночек, - ответила Машка. - Что мне с ним делать? Бабушка в магазине.

И снова я бежала, как оглашенная, и первая увидела развернутый на столе трупик.

Мы все стояли и ждали бабушку, а Машка рассказывала, что он уже долго не плакал, а всегда плачет много, она его и развернула.

Потом были похороны, самые страшные похороны, которые я видела, ибо гробик несли дети, и за гробиком шли дети, и они так рыдали, что мы не знали, что с ними делать. Могилка была на местном кладбище, и хотя по месту это было недалеко, жутковатость зрелища всколыхнула весь поселок. Сначала шли дети с гробиком, меняясь во время несения, а потом, через расстояние, толпой шли мы, как бы

стесняясь слиться с детьми. Даже бабушка Маши шла с нами, а матери не было вообще.

В этой отдельности детей, несущих гробик величиной с куклу, была жуть и был некий, данный нам в разгадку смысл. Мы его не понимали, а если честно, я не понимаю до сих пор. Меня потрясло другое: это выглядело красиво. Теплый летний день, детский плач, процессия... И слова какой-то женщины: Бог прибрал. И эти два слова дошли сразу. Навел порядок.

Плачь детей смысл грех, и позор, и похоть, была чистая смерть и чистые дети. Я признаюсь в этом только сейчас, ибо тогда я не могла допустить, что так думаю. Как сейчас бы сказали, эстетизирую горе.

Конечно, детская печаль скоротечна. Скоро все забылось, Машка стала прыгать через веревочку вместе со всеми. На террасе и половине спальни жил строгий заведующий пропагандой большой газеты, поборник тишины и очереди в уборную.

А на следующий год Маша снова кормила из своих молочных блюдиц мальчика, и снова идентификация отца осталась за пределами человеческих возможностей.

Девчонки, которым уже было по тринадцать-четырнадцать, с тайной детской жестокостью ждали новых похорон. Но не дождались. Мальчишка вырос.

Это он сейчас строит баню. Коля-Матузок. Так случилось, что мы съехали со своей дачи, и в чем-то из-за Машки, явной нимфоманки, рассказы которой возбуждали подрастающую дочь, и когда представилась возможность перебазироваться в другие леса, мы так и сделали. Вернулись на этот спецучасток уже через много лет. Получили выстроенную уже без нас дачку на склоне к реке. Народ был уже совсем другой, и тропки по участку шли иные, кое-где появились заграждения, так что возле дачи Молотова мы теперь просто не ходили. Видели, стоит особняк, совсем вгруз в землю и окривел окнами. Я показывала внучке, где мы жили раньше, где гуляла ее мама. Душа к месту не прирастала, а мы оказались людьми необоротистыми. За долгую жизнь своей собственности не нажили. Дураки. Поэтому когда предоставилась возможность приватизировать этот нелюбый кусок земли, согласились, ибо отказываться было глупо.

Пришло другое время, каждый загородился рабицей, я долго не могла запомнить это новое для себя слово и жалела вольные тропы, которые шли, как хотели, и на них свободно гуляли дети, а теперь идешь между сеток, за которыми задницей кверху стоят люди, внедряясь в землю, не пригодную ни к чему путному.

А я из года в год ращу вольную жительницу этой земли - крапиву.

Однажды на тропе между рабицами встретила полную пожилую женщину, она поздоровалась, что было удивительно в этом новом все более отчуждающемся мире, и я с ужасом признала в женщине Машку. На вид ей было лет пятьдесят, а ведь она всего на год старше моей тридцатидвухлетней дочери. Рассказала, что живет тут с сыном "все в той же коммуналке". Работает в одном из банков бухгалтером. Окончила финансово-экономический.

- Тогда туда никто не шел, а сейчас конкурс, как в театральный. Получаю в валюте.

- Молодец, - сказала я, почему-то мне казалось, что ее надо морально

поддерживать, подбадривать, я не сообразила, что слова "в валюте" определяли мне место в этой жизни. Как когда-то - "шушера".

- А чем занимается твой сын?

- Всем! - сказала Маша. - У него золотые руки. Он тут строит, пристраивает кому что надо. Если что требуется - говорите.

Нам много чего надо, но я отказываюсь практически наотрез. Мы расходимся, и я думаю, что, когда человек выпадает из времени, он прежде всего глупеет. Зачем я отпихнула Машку, если у меня проваливается пол, осели двери, не закрываются краны? Разве Машка - всадник без головы? Нет, это слово "валюта" выстрелило в меня и помешало мне принять протянутую руку.

Мне не нравилось время Молотова, последующее за ним время всадников без головы, теперь я толкаю Машку. Но ведь время, которое пришло, - оно пришло по моему зову, я выносила его под сердцем, а разродилась жабой. Оборотень-сказка. Взял царевич в жены красавицу, а она после венца возьми и оборотись жабой.

А потом Коля решил строить баню. Начальники новой собственности дозволили ему свалить деревьев пять штук и строить. Сразу за мной. Коля все сделал и на хозяйственном дворе стал искать то, что могло пойти в дело, - доска какая или кирпич. И тут старый дядька, бывший сторож спецучастка, ныне пенсионер, которого все время тянуло на места бывшей работы как места боевой славы, сказал Коле:

- Колян! А там стоит кровать, на которой ты родился.

- Я родился в Москве, - сказал Коля.

- Скажи кому-нибудь другому, - ответил старик. - Я это видел своими глазами. Голова у тебя была большая, волосатая, и ты ею двигался.

Все перепутавший сторож привел Колю к кровати Молотова, которая стояла под навесом и под охраной пионера в салюте. Время, конечно, с ней обошлось, как обходится и с живым, и не с живым. Но тем не менее кровать выжила. Матрасы выгорели и были то ли проедены мышами, то ли проклеваны птицами, но широта и мощь остались - им как бы ничего и не сделалось.

- Возьми! - сторож был щедр. - Будешь баню строить - какую-никакую часть присобачишь. Из стенок полоч сделаешь... Ему сносу не будет.

Коля обошел кровать. Присел на нее. Пружины скрипнули каким-то радостно-освобожденным звуком.

- Вишь, - сказал сторож, рассказывая потом всем возле ворот, - пружина - железяка железная, но душу имеет. Признала Колино рождение.

И старик поведал совсем другому народу старую историю из другой жизни. Ну и что - что брехня? Звучало красиво. "Понимаешь? Сначала Молотов спал один. Потом Машка спала со всеми. И со мной тоже. А потом вышел из этого мероприятия Колька. Звали его Матузок. Все за матерью веревочкой бегал, а та ведь девчонка. Ей и мальчики, и мячики были нужны сразу одновременно".

И хоть Машка объясняла всем, что того ребеночка, что с кровати, она схоронила, история сторожа была интересней. Подумаешь, умер! После этого ничего, пустота.

А вот ты вырасти да найди свою кровать рождения - это красиво. Это как в кино. Только кто это такой Молотов? Он чей отец? Или сын?

Я не знаю, сколько времени я блукала (значит, бродила) в складках баяна-времени. Когда выбралась, было уже темно, на террасе горел свет и слышались детские голоса. Внучка играла в компьютерную игру и побеждала инопланетян.

- Между прочим, я не ужинала, - сказала она.

Упрек был справедлив.

Потом, уже уложив ее спать, я вышла посидеть на приступочках террасы. Она была от меня рукой подать - кровать Молотова. Она вернулась на спецучасток, где когда-то жил ее главный хозяин. Строгий был мужчина. Аскет. Между прочим, я в это верю. В его аскетизм. Он еще долго жил и видел, что ему на смену приходят охальники-развратники. И он платил взносы партии, как судьбе, чтоб вернуть аскетов.

На мое время выпало существование двух типов власти: аскетов-убийц и голых развратников в банях. И еще воров. В детской считалке выбор был больше - ленты, кружево, ботинки, что угодно для души. Развратники и воры кружевом и ботинками обеспечили. Теперь учатся убивать. Вот душа ноет и плачет, она боится поворота, когда придут аскеты-убийцы на взносы, выплаченные впрок. Или все-таки не придут? Тоже русский вопрос: кто лучше - вор или убийца?

Я задремываю и вижу сон-явь: дети несут маленький гробик, но в гробике не младенец. Молотов в пенсне, которое отсвечивает на солнце. Левым глазом он мне подмигивает. Я вскакиваю и бегу в дачу, и закрываю все засовы. Сопит внучка, храпит собачка по кличке Кутя. Светится огонек невыключенного телевизора.

"Господи! - говорю я телевизору. - Спаси нас и сохрани. Не возвращай аскетов. Пусть у детей будут ленты, кружево и ботинки. И что угодно для души. И раз уж кровать нашли, то, значит, - как я понимаю - надо на ней зачинать ребенка. Только перевернуть кровать и поставить на ноги. И ляжет на нее - кто-кто? - Машка. Больше некому. Каков стол, таков стул, как говорит всю жизнь мой приятель. Но простую бабью работу, Господи, она сделает. Ты не отвернись - сделай главную. Пусть у нее родится умный царевич, который найдет себе жену-красавицу, а не жабу. И чтоб пошло у них все умненько и ладненько, а за ними и у нас. На третий раз, Господи, должно получиться что-то путное.

Мы ведь по жизни трехразовый народ: три раза закидываем невод...